

бодила бы собственно метафизику от всякой примеси чувственности, можно было бы без чрезмерных усилий довести до необходимой обстоятельности и ясности.

Надеюсь и в будущем сохранить Ваше дружеское расположение и уповаю на то, что и впредь Вы сочтете возможным участвовать в моих, правда еще незначительных по своим результатам, научных исследованиях. Если мне дозволено обратиться к Вам с просьбой, то я просил бы Вас разрешить господину Марку Герцу, подателю данного письма Вашего покорного слуги, иногда обращаться к Вам за содействием в его занятиях. Могу рекомендовать его как благонаправленного, весьма прилежного и способного молодого человека, который сумеет должным образом использовать добрый совет.

Остаюсь с величайшим уважением покорнейшим слугой Вашего благородия.

И. Кант.

Кенигсберг, 2 сентября 1770 г.

7 (67)

КАНТ — ГЕРЦУ

[7 июня 1771 г.]

Дорогой друг!

Что Вы думаете о моей неаккуратности в качестве корреспондента? Что думают об этом Ваш ментор господин Мендельсон и профессор Ламберт? Эти почтенные люди, наверное, считают меня весьма несучтивым, поскольку я столь дурно отплатил им за усилия, затраченные на их письма ко мне. И в самом деле, я не мог бы быть в обиде на них, если бы впредь они решили не поддаваться соблазну и не тратить больше сил, отвечая на мои письма. Если бы, однако, те внутренние препятствия, которые человек осознает сам, могли стать столь же очевидными для других, то они, как я надеюсь, сочли бы причиной моего молчания все что угодно, только не равнодушие или недостаток уважения к ним. Прошу Вас, убедите этих достойных людей в том, что подобное подозрение не соответствует истинному положению дел, или, если оно еще не

возникло, предотвратите его заранее, ибо и теперь еще не устранено препятствие, служившее причиной моего долгого молчания. Если отвлекаться от дурной привычки считать каждую следующую почту удобнее сегодняшней, то таких причин, собственно говоря, две. Письма, подобные тем, которыми оказали мне честь эти два ученых мужа, всегда заставляют меня углубиться в длительные исследования. Вам ведь хорошо известно, что, знакомясь с разумными возражениями, я совсем не стремлюсь прежде всего опровергнуть их; напротив, я присоединяю их к своим суждениям и допускаю возможность того, что эти новые доводы заставят меня отказаться от всех прежних излюбленных мною идей. Я всегда надеюсь на то, что, беспристрастно рассматривая свои суждения с позиций других мыслителей, я найду некое третье, лучшее, чем мое первоначальное, решение вопроса. К тому же, когда речь идет о людях такого ранга, то самый факт их неуверенности в правоте моих доводов всегда является для меня доказательством того, что моей теории во всяком случае недостает ясности, отчетливости, а быть может, и более существенного. Между тем многолетний опыт научил меня тому, что проникновение в изучаемую нами материю не может быть насильственным и ускорение его не достигается напряжением сил; этот процесс требует довольно длительного времени, в течение которого, делая промежутки, мы рассматриваем одно и то же понятие во всевозможных соотношениях и в столь обширных, насколько это нам доступно, связях; делается это в значительной степени и для того, чтобы в ходе подобного рассмотрения пробудился дух скепсиса и проверил бы, способно ли наше мыслительное построение противостоять самому глубокому сомнению. С этой точки зрения я хорошо использовал, как мне кажется, ту отсрочку, в силу которой меня могут обвинить в невежливости, хотя в действительности она объясняется моим глубоким уважением к суждениям обоих ученых.

Вы знаете, какое большое значение для философии в целом и для важнейших человеческих целей имеет отчетливое и ясное понимание того различия, которое существует между тем, что основано на субъективных

принципах душевных способностей человека, — не только чувственности, но и рассудка — и тем, что непосредственно направлено на сами предметы. Если не стремиться во что бы то ни стало создать систему, то оказывается, что исследования, посвященные самому различному применению этого основного правила, верифицируют друг друга. Поэтому я работаю теперь над книгой, озаглавленной “Границы чувственности и разума”¹, где я пытаюсь подробно разработать отношение основных понятий и законов, которые определяют чувственно воспринимаемый мир, а также наметить в общих чертах то, что составляет сущность учения о вкусе, метафизике и морали. За эту зиму я изучил весь необходимый материал, расклассифицировал его, взвесил и сопоставил отдельные данные и только совсем недавно завершил весь план этой работы.

Вторая причина моего молчания должна быть для Вас, как для врача, еще более убедительной; дело в том, что, поскольку мое здоровье заметно ухудшилось, я вынужден принимать меры, которые помогли бы улучшить мое физическое состояние, т.е. исключить на время всякое перенапряжение, использовать для работы только светлые минуты, остальное же время уделять покою и уюту повседневной жизни. Такой образ действий вместе с ежедневным приемом настойки хинной коры, начатым в октябре прошлого года, в значительной степени помог мне справиться с болезненным состоянием, что подтверждают и мои знакомые. Уверен, что Вы поймете неаккуратность, вызванную медицинскими соображениями.

Рад был узнать, что Вы намереваетесь опубликовать исследование о природе спекулятивных наук². С нетерпением жду его появления, и, так как Ваша книга будет, по-видимому, опубликована раньше моей, я смогу использовать ряд важных для меня соображений, которые, как я полагаю, там будут содержаться. Предвкушаемое мною удовлетворение (даже если к нему присоединится известная доля тщеславия) от успеха, который, вероятно, выпадет на долю Вашего первого печатного опыта, будет приспосабливано бескорыстных дружеских чувств. Мою диссертацию, в которую я не

захотел вносить какие-либо изменения после того как задумал дать более полную разработку содержащихся в ней идей, господин Кантер отправил отсюда, причем довольно поздно и в небольшом количестве экземпляров, даже не включив ее в каталог ярмарки. Поскольку в ней содержится то, что будет развито в моей следующей работе, и вместе с тем отдельные мысли, которые мне вряд ли придется где-либо повторять, а диссертацию со всеми ее ошибками издавать повторно не стоит, то я несколько раздосадован тем, что и эту работу так скоро ждет участь всех человеческих стремлений, т.е. забвение.

Если Вы сочтете возможным писать мне, даже лишь изредка получая ответ, то подробное письмо от Вас окажет весьма ценное содействие весеннему курсу моего хинного лечения. Передайте, пожалуйста, господину Мендельсону и господину Ламберту мои извинения и заверения в моей глубочайшей преданности. Надеюсь, что, как только мой желудок начнет выполнять свои обязанности, моя рука также не преминет выполнять свои. Примите во всех Ваших начинаниях наилучшие пожелания и сочувствие Вашего искреннего друга

И. Канта

Кенигсберг, 7 июня 1771 г.

8 (70)

КАНТ — ГЕРЦУ¹

[21 февраля 1772 г.]

Благородный господин, дорогой друг!

Если Вы сердитесь оттого, что я Вам не ответил, то Вы, конечно, правы. Но если Вы отсюда делаете неправильные выводы, то я хотел бы воспользоваться правом сослаться по этому поводу на Ваше знание моего образа мышления. Вместо всех извинений я хотел бы в немногих словах рассказать Вам о том, чем именно заняты мои мысли и что даже в часы досуга заставляет меня откладывать ответ. После Вашего отъезда из Кенигсберга я в промежутке между занятиями

и отдыхом, в котором я очень нуждаюсь, рассмотрел еще раз план тех исследований, о которых мы с Вами беседовали, чтобы согласовать его со всей философией и всем остальным кругом знаний и чтобы определить их объем и рамки. В различении чувственного и интеллектуального в области морали и в отношении вытекающих отсюда принципов я уже и раньше достиг довольно заметных результатов. Принципы чувства, вкуса и способности суждения с их действиями — приятным, прекрасным и благим — я тоже уже давно выразил в форме, более или менее удовлетворяющей меня, и теперь я составил план сочинения, которое можно было бы озаглавить приблизительно так: *“Границы чувственности и разума”*. В этом сочинении я мыслил себе две части: теоретическую и практическую. Первая содержит два раздела: 1) феноменологию вообще, 2) метафизику, а именно о ее природе и методе. Вторая часть также содержит два раздела: 1) общие принципы чувства, вкуса и чувственного желания; 2) первые основания нравственности. Продумывая теоретическую часть во всем ее объеме и во взаимоотношении всех ее частей, я заметил, что мне не хватает еще кое-чего существенного, что я в своих долгих метафизических исследованиях, точно так же как другие, упустил из виду и что в действительности составляет ключ ко всей тайне метафизики, до сих пор остававшейся еще скрытой для себя самой. Я поставил перед собой вопрос: на чем основывается отношение того, что мы называем представлением в нас, к предмету? Если представление содержит только тот способ, каким предмет воздействует на субъект, то легко понять, как он может соответствовать субъекту в качестве действия своей причины и как это определение нашей духовности может что-то *представлять*, т.е. иметь предмет. Пассивные или чувственные представления обладают, следовательно, доступным для понимания отношением к предметам, и принципы, заимствуемые из природы нашей души, имеют вполне понятную значимость для всех вещей, поскольку они должны быть предметами чувств. Равным образом: если бы то, что в нас называется представлением, было активно в отношении

объекта, т.е. если бы этим порождался сам предмет, подобно тому как представляют себе божественные познания в качестве прообразов вещей, то и соответствие представлений с объектами могло бы быть понято. Таким образом, понятна по крайней мере возможность как *intellectus archetypī*, на созерцании которого основываются сами вещи, так и *intellectus ectypī*², почерпывающего данные для своей логической обработки из чувственного созерцания вещей. Однако наш рассудок через посредство своих представлений не есть причина предмета (кроме тех случаев, когда в области морали речь идет о добрых целях), как и предмет не есть причина представлений рассудка (*in sensu reali*). Чистые рассудочные понятия не должны быть, следовательно, абстрагируемы от ощущения чувств, как не должны они выражать восприимчивость представлений посредством чувств; свои источники они должны иметь, правда, в природе души, однако не в том смысле, что они испытывают воздействие объекта и что они порождают сам объект. В диссертации я ограничился тем, что выразил природу интеллектуальных представлений лишь негативно, а именно что они не могут быть видоизменениями души, обуславливаемыми предметом. Но как еще возможно относящееся к предмету представление без воздействия этого предмета, — это я обошел молчанием. Я тогда сказал: чувственные представления воспроизводят вещи так, как они являются, интеллектуальные — так, как они есть. Но посредством чего даются нам эти вещи, если не через тот способ, каким они на нас воздействуют; и если такие интеллектуальные представления основываются на нашей внутренней деятельности, то откуда происходит соответствие, которое они должны иметь с предметами, не порождаемыми ведь этой деятельностью; и откуда аксиомы чистого разума об этих предметах, откуда происходит их соответствие с этими предметами, раз это соответствие не может получить никакой помощи со стороны опыта? В математике это возможно, так как находящиеся здесь перед нами объекты в силу того только суть величины и могут быть в качестве величин представлены, поскольку мы единицу берем

несколько раз. Понятия о величинах могут быть поэтому самодеятельными, и их принципы могут быть установлены а priori. Но вопрос о том, каким образом мой рассудок должен совершенно а priori сам образовывать себе понятия о предметах, которым необходимо должны соответствовать вещи, как может он установить реальные принципы их возможности, которым в точности должен соответствовать опыт и которые от опыта, однако, не зависят, — этот вопрос всегда оставляет в отношении качеств некоторую неясность, касающуюся способность нашего рассудка, [а именно] откуда возникает для него это соответствие с самими вещами.

Платон признавал первоисточником чистых рассудочных понятий и принципов некоторое духовное, ранее имевшееся созерцание божества. Мальбранш признавал некоторое все еще продолжающееся постоянное созерцание этого первосущества³. Разные моралисты признавали это же созерцание в отношении первых моральных законов; Крузий — некоторые внушенные нам правила суждения и понятия, которые Бог внедрил в человеческие души уже в том их виде, какими они должны быть, чтобы быть в соответствии с вещами⁴. Из этих систем первую можно было бы назвать *influxum hyperphysicum* [системой сверхфизического влияния], а последнюю — *harmonia praestabilita intellectualis* [системой интеллектуальной предустановленной гармонии]. Однако *Deus ex machina* в определении источника и значимости наших познаний есть самое нелепое, что только вообще можно избрать и что, помимо порочного круга в логической цепи выводов наших познаний, вредно еще и тем, что поощряет всякую пустую мечту, как и всякую богобоязненную или фантастическую химеру.

Исследуя именно таким образом источники интеллектуального познания, без которых нельзя определить природу и границы метафизики, я разделил эту науку на существенно отличные друг от друга части и старался подвести трансцендентальную философию, а именно все понятия совершенно чистого разума, под определенное число категорий, но не так, как это сделал

Аристотель, поставивший их в своих десяти категориях рядом друг с другом чисто случайно, в том виде, как он их нашел, а так, как они сами собой распределяются по классам согласно немногим основным законам рассудка. Не распространяясь здесь подробно о всей совокупности исследований, не доведенных еще до своего завершения, я могу сказать, что в отношении существа моего намерения мне это удалось и теперь я могу предложить критику чистого разума, которая рассматривает природу и теоретического, и практического познания, поскольку оно есть чисто интеллектуальное. Сначала я составлю первую часть этой критики, содержащую источники метафизики, ее метод и границы, а потом уже — чистые принципы морали. Что касается первой части, то я издам ее в течение ближайших трех месяцев.

В столь тонкой умственной работе ничто не может служить большей помехой, чем усиленные размышления, лежащие за пределами этой области. В спокойные или даже счастливые мгновения ум должен быть всегда и неизменно открыт для любого случайного замечания, которое может представиться, хотя он и не должен всегда быть в напряжении. Взбадривания и развлечения должны сохранять душевные силы в состоянии гибкости и подвижности, что позволяет рассматривать предмет со все новых сторон и расширять свой кругозор от наблюдения через микроскоп до общей перспективы, чтобы таким образом можно было воспринимать все возможные точки зрения, причем каждая поочередно проверяла бы очевидное суждение другой. Именно по этой причине, мой дорогой друг, задержался мой ответ на Ваши столь приятные для меня письма; ведь Вы, надо полагать, не ждете от меня бессодержательных писем.

Что касается Вашего небольшого сочинения, написанного с таким вкусом и глубоко продуманного, то оно во многих отношениях превзошло мои ожидания. Но по указанным уже причинам я не могу высказать свое мнение о нем подробно. Однако, друг мой, надо отметить влияние, которое подобного рода начинания, касающиеся состояния наук, оказывают на ученую

публику; когда начинаю опасаться, что мое недомогание может помешать осуществлению большей части уже готового плана моих работ, кажущихся мне наиболее важными, я часто утешаю себя тем, что если бы эти работы появились в свет, то они были бы потеряны для пользы общества точно так же, как и в том случае, если бы они навсегда остались неизвестными. В самом деле, нужно быть гораздо более видным и красноречивым писателем, чтобы побудить читателей серьезно размышлять над его сочинением.

На Ваше сочинение я нашел рецензию в бреславльской, а совсем недавно также и в геттингенской газетах. Если публика так оценивает дух и главную цель сочинения, то тщетны были все старания. Автору, если рецензент взял на себя труд понять существо его усилий, даже порицание приятнее, чем похвала, основанная на поверхностном анализе. Геттингенский рецензент⁵ останавливается на отдельных практических выводах системы, которые сами по себе случайны и в отношении которых с тех пор кое-что само изменилось, причем главная цель от этого только еще больше выиграла. Одно письмо Мендельсона или Ламберта больше побуждает автора к проверке своих учений, чем десять таких легковесных рецензий. Славный пастор Шульц⁶ (лучший философский ум в нашей округе) хорошо понял цель [моей] системы; я хотел бы, чтобы он занялся также и Вашим небольшим сочинением. В его оценке встречаются два недоразумения, основанные на ложном истолковании рассматриваемой им системы. Первое состоит в том, что, по его мнению, пространство есть не чистая форма чувственного явления, а скорее подлинное интеллектуальное созерцание и, следовательно, могло бы представлять собой нечто объективное. Ясный ответ на это таков: пространство именно потому и не было [мною] признано объективным, следовательно, интеллектуальным, что, когда мы подвергаем полному анализу представление о нем, мы не мыслим в нем ни представления о вещах (каковые могут существовать только в пространстве), ни какой-либо действительной связи (которой вообще не может быть без вещей), т.е. никаких действий,

никаких отношений в качестве его оснований, и, следовательно, вообще не имеем никакого представления о вещи или о чем-то действительном, что было бы присуще вещи, и, следовательно, пространство не есть нечто объективное. Второе недоразумение приводит Шульца к возражению, которое наводит меня на размышление; оно, по-видимому, наиболее существенное из всех, какие только можно привести против [моей] системы, и совершенно естественно приходит на ум каждому; Ламберт мне уже сделал такое возражение. Оно состоит в следующем: изменения суть нечто действительное (об этом свидетельствует внутреннее чувство), но они возможны лишь при условии, если есть время; следовательно, время есть нечто действительное, что присуще определениям вещей самих по себе. Почему (сказал я самому себе) не умозаключают аналогично этому аргументу так: тела действительны (об этом свидетельствуют внешние чувства), но тела возможны только при условии, если есть пространство, следовательно, пространство есть нечто объективное и реальное, что присуще самим вещам. Причина [здесь] состоит в том, что хорошо известно, что в отношении внешних вещей нельзя умозаключать от действительности представлений к действительности предметов, тогда как при внутреннем чувстве мышление или существование мысли и меня самого — это одно и то же. Ключ к устранению этой трудности состоит в следующем. Нельзя сомневаться в том, что я могу мыслить свое собственное состояние в категории времени и что, следовательно, форма внутренней чувственности являет мне изменения. То, что изменения суть нечто действительное, я не отрицаю, как не отрицаю, что тела суть нечто действительное, хотя под этим я понимаю лишь то, что нечто действительное соответствует явлению. Я даже не могу сказать: внутреннее явление изменяется, ибо как мог бы я наблюдать это изменение, если бы оно не являлось моему внутреннему чувству? Если бы сказали: отсюда следует, что все в мире объективно и само по себе неизменно, то я бы ответил: оно не изменчиво и не неизменно, как говорит Баумгартен в своей “Метафизике”, § 18: абсолютно

невозможное не есть ни гипотетически возможное, ни невозможное, так как его вообще нельзя рассматривать под каким-либо условием; точно так же: вещи в мире не объективны и не существуют сами по себе ни в одном и том же состоянии в разное время, ни в различном состоянии, так как в этом смысле они вовсе не представляются во времени. Однако довольно об этом. Нельзя, по-видимому, привлечь внимания одними только отрицательными положениями; нужно на месте разрушаемого [что-то] построить или по крайней мере, когда пустое измышление будет устранено, сделать чистое рассудочное усмотрение (*Verstandeseinsicht*) догматически понятным и показать его границы. Этим я теперь и занят, и в этом причина того, почему в свободные часы, которыми мое шаткое здоровье позволяет мне пользоваться для размышления, я часто вопреки своему намерению воздерживаюсь от ответа на дружеские письма и отдаюсь течению своих мыслей. Откажитесь поэтому по отношению ко мне от своего права на возмездие и не лишайте меня Ваших писем на том основании, что видите меня столь неаккуратным, когда дело касается ответа на них. На Вашу постоянную симпатию и дружбу ко мне я рассчитываю в такой же мере, в какой Вы всегда можете быть уверены в моей. И если Вы готовы довольствоваться краткими ответами, то в будущем не будете лишены их. Место формальностей должна в наших отношениях занять уверенность в нашей искренней симпатии друг к другу.

В знак Вашего искреннего миролюбия я ожидаю в ближайшее время Вашего столь приятного для меня письма. Наполните это письмо теми сведениями, в которых Вы, находясь в центре научной жизни, вероятно, не имеете недостатка, и простите мне ту бесцеремонность, с которой я Вас прошу об этом. Поклонитесь от меня господину Мендельсону и господину Ламберту, а также господину Зульцеру и принесите этим господам мое извинение за то, что и им я не ответил на их письма. Оставайтесь всегда моим другом, как я остаюсь Вашим.

И. Кант

Кенигсберг, 21 февраля 1772 г.